

МИХАИЛ ВОРОНОВ

СТАРИНА
СТАРОДАВНЯЯ

Михаил Алексеевич Воронов

Старина стародавняя

Аннотация

«Летом нынешнего года возвращался я из села Ивановского в Петербург (Ивановское лежит вверх по Неве, верстах в тридцати от Петербурга). Нужно заметить, что пароходы на пути из Шлиссельбурга заходят в Ивановское между тремя и четырьмя пополудни, а так как я пришел на пристань далеко раньше трех часов, то мне, стало быть, приходилось ждать, пожалуй, целый час...»

Михаил Воронов

Старина стародавняя

Летом нынешнего года возвращался я из села Ивановского в Петербург (Ивановское лежит вверх по Неве, верстах в тридцати от Петербурга). Нужно заметить, что пароходы на пути из Шлиссельбурга заходят в Ивановское между тремя и четырьмя пополудни, а так как я пришел на пристань далеко раньше трех часов, то мне, стало быть, приходилось ждать, пожалуй, целый час. Я сел на скамейку и погрузился в созерцание водной стихии. И действительно, если говорить правду, так стихия эта достаточно живописна вблизи Ивановского, потому что выше его Нева суживается и течет как бы сдавленная крутыми высокими берегами, вырвавшись из которых широко и вольно, даже с некоторым шумом несется она мимо села, раскинувшегося направо, и какой-то чухонской деревушки, чуть виднеющейся вдали, налево.

День был хоть куда! Солнце, правда, палило по-летнему, но жар в значительной степени умерялся близостью воды, да еще в таких громадных размерах. Несколько рыбацких лодок мерно качались на середине реки, на быстрине, поочередно ныряя то кормой, то носом; десяток-полтора резвых стрижей с писком пронесли за грузной, неповоротливой вороной, уносившей в когтях какую-то жалкую добычу; мартышка кружила у берега, зорко сторожа какого-нибудь оплошав-

шего пескаря или какую-нибудь несчастную плотву...

– Эй! ежова голова! – раздался вдруг около меня чей-то дребезжащий голос, старавшийся вскрикнуть во всю мочь.

Я оглянулся и увидел старика, грозившего кулаком одному из рыбаков, стоявших на якоре на середине реки, старика до того ветхого, что энергические взмахи собственной руки едва не валили его с ног.

– В город еду, ежова голова! – козлом задрезжал старик, широко раскрывая свой пустой рот, в котором зубов я не заметил ни одного.

– Ладно! – был ответ с реки.

Старик успокоился и с трудом опустился на скамейку возле меня. Я принялся его осматривать.

Бедняк был страшно худ. Глубокие морщины по всем направлениям перерезывали его дряблое лицо, сплошь покрытое мелким седым мохом; желтые кудреватые мочки волос беспорядочно выбивались и ползли на глаза из-под старого разорванного, когда-то военного, картуза, обратившегося теперь во что-то совершенно неопишное, солдатская шинель, вытертая и в заплатках, еле держалась на плечах старика, непосильных даже и для этой ноши.

– Сколько вам лет, дедушка? – как-то невольно спросил я старика.

Старый служака при таком вопросе быстро вскочил с места, так что от излишнего усердия чуть не полетел за борт пристани, в воду: ноги, как оказалось, плохо служили ему.

– Запнулся, запнулся, – бодрясь, пробормотал он. – А то я крепок на ногах, ваше благородие, – обратился старик ко мне.

– Сколько вам лет? – переспросил я.

– А как вы думаете, ваше благородие? – уставился на меня старик.

– Лет пятьдесят, – сказал я шутя.

– Вот то-то же и есть, – радостно осклабился старина... – А ведь и другие как вы же говорят, ваше благородие. А почему? А потому, что я есть военный человек, – с гордостью заключил он.

Тут старик наш приосанился и принял ту чертовскую позу, в какой живописцы старых времен изображали наших, да и всяких заморских генералов, то есть с головой, свернутой, свихнутой набок, на плечо, и с выпученными, точно у бешеного быка, глазами.

– Вот я какой! – застучал себе в грудь старичина.

– Да вы садитесь.

– Не на то солдат создан, чтобы ему сидеть, ваше благородие. – храбрился воин.

– Ну, да что уж тут рассуждать, садитесь-ка.

Старик послушался.

– Так сколько же вам лет? – добивался я своего.

– А восемьдесят два... Вот каков я есмь мал-несмышленочек, ваше благородие! Восемьдесят два, восемьдесят два, отец мой... Но только опять же скажу, ваше благородие,

в гробу, ежели я, примерно, буду лежать, так и тогда всякий скажет: «Эх, скажет, какой бравый солдатище-то помер, успокой господи и его душу».

Я невольно усмехнулся, глядя на этого бравого солдатища.

– Истинно говорю, ваше благородие. Да, при двух императорах служил, при третьем живу, тут годов, надо быть, немало... Тут годов – и-и-и, сколько!

– Ну, а как, дедушка, прежде-то лучше было или хуже нынешнего?

– Лучше, ваше благородие, – нимало не медля, отрезал солдат.

– Чем же лучше?

– А тем лучше, ваше благородие, что прежде было строже: ноне все распущено... воля! Ноне что такое солдат? Что солдат, что мужик – все единственно...

– Ну, а прежде-то?

– А прежде-то солдат в струне ходил – да!

Старик помолчал минуту и забормотал снова.

– Уж при двух императорах служимши, кажется, всего можно было навидеться: не так ли?

– Так, – согласился я.

– А коли так, так расскажу я тебе, ваше благородие, как мы в драгунах служили, – вот ты тогда и раскумякаешь, какова она есть настоящая служба, всамделишная, и какова те-перешняя... куцая-то ихняя, прости господи!

Почему старик нынешнюю военную службу величал «куцею», так и осталось для меня загадкой.

– Вы Линдрейха не знавали, ваше благородие? – спросил меня дед.

– Какого?

– Штаб-ротмистра Линдрейха, Карла Карлыча?

– Не знаю, не знаю, да и не знал никогда.

– Так вот он у нас в ту пору эскадронным командиром был, как в драгунах-то мы служили. Ах, и собака же был человек, прости господи! То есть, кажется, этакого другого пса дракуна и свет не производил! Стояли мы по квартирам, – продолжал старик, – в Тверской губернии, в Корчевском уезде, село Раменье есть такое – богатейшее село! Это было – дай бог память! – в девятнадцатом или в двадцатом этак году... при Благословенном¹ еще... Так вот, стояли мы в этом самом Раменье, а Карло-то Карлыч у нас эскадронным был: маленький такой, черненький, худой да костлявый, что твой коровий хвост; но только уж насчет драки – за первый сорт! Ни он тебе слово какое скажет, ни он тебе надлежаше приказ отдаст, – все в морду да в морду!

Дед даже перекрестился в подтверждение своих слов.

– Вот сейчас издохнуть! – уверительно добавил он.

– Так поди бегали много? – спросил я.

– Нет... о! этого нельзя! – решительно замотал головой

¹ ...при Благословенном... – то есть при Александре I, (1801–1825), которому царский сенат присвоил титул Благословенного.

старик. – Опять же и потому не бегали, что некрутов он не бил; а старый солдат, известно, с чего побежит?.. А некрутов, до году ни-ни – пальцем даже не тронет: «За некрута, говорит, дядька в ответе», – этому, значит, и накладывает во всю руку: у иных спины так и не заживали николи. Ай же и прокурат был человек, дуй его горой! – с усмешкой воскликнул старик, ударив себя руками по бедрам. – Выедем это мы, бывало, на ученье, в манеж, тут-то мука-мученская! Станет сам, знаете, в середку, в руке этот бич, длинный-предлинный такой, и начнет командовать: «Шагом! рысью! с правой ноги! с левой!» – а бичом-то тебя все в спину да в спину – принимай только! Или видит, что придирается к тебе нечего, что делаешь, значит, ты в надлежащем правиле, по-евонному – сейчас тебя с лошади долой и сам сядет: ты, значит, ему командывай. Ах, и прокурат же был! Сядет, знаете, ваше благородие, этта на лошадь, распустится весь, ноги вывернет, скособочится, сгорбится, – просто хуже он всякого, кажется, некрута-первоученка...

– А хорошо ездил? – спросил я старика.

– Уж что не хорошо... Уж такой ли пес на езду был – первая собака!

– Так для чего же он это делал?

– Как для чего? Для того, что ты его оправил как следует.

– А если не оправишь?

– В морду так и зазвездит с лошади-то!

Старик глубоко вздохнул и продолжал:

– Но ежели захочет он тебя в унтер-офицеры произвести – смерть! Первым делом дает тебе, для экзамена, такую лошадь – только моли угодников, чтобы голову тебе сносить; а уж что, значит, до спины касается, – будешь неделю-другую ровно ошпаренная собака скучать! Али придем мы этта жалованье третное получать, так уж тут держи ухо востро: уж тут как спросит: «Сколько тебе следует?» – так и отвечай доточно: «За такую-то, мол, треть, три рубля восемьдесят шесть копеек, за вычетом канцелярских документов – на писчую бумагу, ваше благородие». («На ассигнации – три-то рубля восемьдесят шесть копеек», – пояснил старик.) Но ежели ты только хоша в одном слове неправильность какую супротив его науки сказал – быть твоей морде битой: ни за что не спустит.

– Ну, а службой больно морил? – спросил я.

– Да уж, одно слово, за первого служаку по всей дивизии считался, так как же и не морить?

Старик поставил зонтиком ладонь над глазами и пристально посмотрел вдаль.

– Не видно пароходу-то, – покачал он головой.

– Да, вероятно, с полчаса еще подождем.

– Подождем, надо быть.

Дед откашлялся и забормотал снова:

– Бывало, вот на покров-то праздник в селе у нас. Сейчас приказ от его, чтобы собраться в церкви в полной парадной форме. Придет, посмотрит всех, – а кому так и в морду ради

праздника попадет, – прикажет спешиться и поведет во храм божий; опосля молебна сделает развод, потом опять велит спешиться и по стакану водки каждому: пьешь, не пьешь – пей!.. «Когда, говорит, командир тебе подносит, не смей и в мыслях держать, чтобы не пить: хоть умри тут от одного стакана, а пей!»

– И пьют?

– А то нешто ослушаются?

– Да если кто, в самом деле, не пьет?

– Так ему-то что за дело: хоть умри, говорит, а пей.

– Ну? – спросил я с любопытством.

– Ну, многие, известно, выпьют, голова закружится, так тут же и повалится.

– А он что?

– Ему что? – смеется. Что ему... известно, командир – его воля: как хочет, так и мудрит.

Старик усмехнулся.

– Раз, помню, только что мы, господи благослови, в Раме-нье-то вступили, только что расквартировались, вижу я, что лошадь-то у меня дюже тоща, – вот и думаю я себе: дай-ка, мол, пойду я на поле – не поживлюсь ли, мол, там чем. Ну, известно, село богатое, как не поживиться... Навязал я вязанку сена, да и пробираюсь, знаешь, ваше благородие, путем-дорогой домой. Тут меня, милого дружка, мужички-то и схапай! Схапали – да к нему, к командиру-то. Запираться, известное дело, нечего-повинился я: уж он мне тут ску-

лы-то гнул, гнул, кажется, чуть не до полусмерти. «Довольны ли?» – спрашивает мужичков. «Довольны, говорят, ваше благородие!» – «Ну, ступайте!» – говорит. Ушли мужики, он сейчас ко мне. «Ну, как же, говорит, тебе, такой ты, сякой, не стыдно: вязанки ты сена в аккурате не мог взять?» – «Виноват, говорю, ваше благородие: нечистый попутал, мой грех!» – «Известное дело, – это он-то мне-то, – известное, говорит, дело, что правдой ноне в миру не проживешь, так человек подобным таким образом и утрафлять должен, чтобы кривда его во всяком разе, как самая что ни на есть всамделишная правда была. Понял?» – спрашивает. «Слушаю, говорю, ваше благородие». – «Да ты, говорит, слышал ли историю такую про Правду и Кривду?» – спрашивает меня. «Никак нет, говорю, ваше благородие». – «То-то ты, говорит, дураком по свету ходишь», – а сам в скулу раз, раз! Я, известно, стою, молчу, дело подначальное... «Жили, – говорит мне Карла Карлыч, – на белом свете Правда с Кривдой, и были они, говорит, давно между собою знакомы, да только несколько лет не видались – не привелось, значит. Только, однако, и встретились: идет Правда, худая да тощая, чуть ноги волочит, жалкая такая, а Кривда-то навстречу ей, пузастая да рыластая, что твоя кровь с молоком: идет, тросточкой помахивает. «Здравствуй, Правда!» – «Здравствуй, Кривда!» – «Как поживаешь, Правда?» – «Плохо, Кривда: оборвалась вся, голодом изморилась, холодом истомилась». – «Эх ты, говорит, дура, Правда, – Кривда-то ей, – а ты живи по-

моему, так всегда и сыта, и в тепле будешь ходить!» – «Да не умею», – говорит. «Пойдем, говорит, я научу». Пошли. Приходят в трактир. Сели. «Дай, говорит, молодец, нам по пирожку да водочки, да жарковьица». Сидят, едят: ели, ели, кончили. Только собираются уходить, молодец-то, что подавал, и спрашивает деньги. «Как? – говорит Кривда – мне, говорит, еще с тебя сдачи следует, потому как я тебе золотой дала». Молодец так и опешил; а Правда, известно, молчит, потому в такую компанию влезла. Дошло дело до хозяина. Хозяин сейчас послал за полицией. Ну, судили, рядили и решились так, что Правду с Кривдой взять по сумлению, а на право торговли трактирное заведение закрыть, потому что, может, и от него дело-то все произошло. Видит хозяин, что предстоит ему убыток неминуемый, давай просить, давай молить, да и кончил тем, что заплатил Кривде не токмо что с полуимпериала сдачи, а своих еще два прибавил – только отвяжись! Да заплатимши-то, с горя как взвост: «Эх, говорит, где-то ноне Правда?» А Правда-то стоит сзади да думает про себя: «Здесь, мол, я, да сказываться не могу, потому в такую компанию взошла». Так вот так-то!» – говорит мне Карла Карлыч, а сам все меня в скулу да в скулу. Уж и досталось мне в те поры за это сено, чтоб ему пусто было! – заключил старик, мотая головой.

– Так вот он какой был! – заметил я.

– И-и-и! – протянул старичина. – И сам был строг, и от солдата строгости требовал, – добавил он. – «Уж ежели, го-

ворит, солдат да своего хозяина в неповиновении держит, тот мне не служака. А тот, говорит, солдат надлежащий, у которого хозяин по ниточке ходит: от такого, говорит, солдата и мне ину пору, где десяток яичек да цыпленочек, а где и курочка попадет!»

– Так он, значит, любил и цыплят-то и курочек?

– Все такое любил, а уж насчет провианту либо фуражу, так он тебе сокращал, что чем хошь, тем и продовольствуйся.

– Ну, это не совсем ладно, – заметил я.

– А что делать? – служба. Вот теперича сено, положим, – начал было старик, но вдали показался пароход, которому старый служака почему-то обрадовался чисто по-детски и оставил меня, быстро, вприпрыжку направившись на другой конец пристани.

Я, разумеется, не остановил его и не захотел мешать его радости. Через несколько минут мы отплыли из Ивановско-го.